

## PAIDEIA OT ДОСТОЕВСКОГО

Древнегреческий термин *Paideia* на русский язык чаще всего переводится словом «образование», хотя этот перевод отсекает некоторые важные оттенки смысла, в большей степени передаваемые другим словом – «воспитание». Целостность греческого термина лучше передают немецкое *Bildung* и английское *education*.

Среди многих на сегодняшний день трактовок *Paideia*<sup>1</sup> мы выделим объяснение Хайдеггера в его работе «Учение Платона об истине». Хайдеггер интерпретирует известную «притчу о пещере» из «Государства», исходя из диалектического взаимодействия у Платона двух категорий – «пайдейя» («перемещение человека в место его существа» – использую перевод В. Бибихина) и «алетейя» («непотаённое»)<sup>2</sup>. В этой связи *Paideia* не означает «загрузку» знаниями человеческой души как «сосуда» (чем сплошь и рядом грешит победившая в новое время позитивистская педагогика). Хайдеггер пишет так: «Пайдейя означает обращение всего человека в смысле приучающего перенесения его из круга ближайших вещей, с которыми он сталкивается, в другую область, где является сущее само по себе»<sup>3</sup>.

Резюмируя мысль Платона-Хайдеггера, можно, очевидно, сказать, что *Paideia* в сократической мудрости Эллады (этого детства человечества) предстаёт как возвращение человека к первосмыслу и в определённой мере – к самому себе, т. е. к своему первообразу.

Христианство, очевидно, находится в русле данной традиции. Христианское воспитание нацелено на проявление образа Божия в человеке. Как известно, на вопрос учеников «кто больше в Царстве Небесном», Христос поставил посреди них дитя, сказав: «если не обратитесь и не будете как дети, не войдёте в Царство Небесное» (Мф. 18: 3).

В дальнейшем развитии цивилизации, назвавшейся именем Христа, этот завет остался на долгие века непонятым и непринятым. Почему дитя? Зачем надо быть «как дети»? («впасть в детство» в русском языке – то же самое, что «идиотия»). Несмотря на ясно выраженный завет Христа, так называемая христианская цивилизация не могла преодолеть своего отношения к ребёнку как к недочеловеку (отношение это зафиксировано в латинском *infantilis*), когда детство воспринимается только как ступень, подготовка к взрослой жизни. Произошло это, очевидно, потому, что в сложившемся представлении «что есть развитие» возобладал концепт линейности, т. е. исключительно эволюционного, необратимого движения от форм, признаваемых за «низшие», к формам, признанным как «высшие» (образ лестницы не случайно так активно эксплуатируется в европейской философии и педагогике).

Перелом в отношении к детству наметился лишь в XVIII столетии и связан прежде всего с открытиями Руссо. Хотя слово «открытие» звучит здесь странно, но так получилось, что именно через Руссо европейская (христианская) культура заново открывала то, что было открыто ей 18 веков назад. Руссо сформулировал жестокий упрёк творцам этой культуры: «детства не знают», «ищут в ребёнке взрослого, не думая о том, чем он бывает прежде, чем стать взрослым»<sup>4</sup>. Вывод Руссо несколько абстрактен (как и всё его педагогическое учение), но он выражает новый взгляд на вещи: «У человечества – своё место в общем порядке Вселенной, у детства – тоже своё в общем порядке человеческой жизни...»<sup>5</sup>. Как можно видеть, Руссо отверг предшествующую концепцию линейного прогресса, исходя из идеи стадияльного развития. Следуя ему, Лев Толстой называл детство, отрочество и

юность эпохами человеческой жизни (эпоха, в отличие от ступени, имеет статус относительной самостоятельности, отдельности, собственной внутренней логики). Представление о стадийном характере развития было положено в основу и новой европейской педагогики, пошедшей за Руссо: Песталоцци и его последователи пытались соединить уважение к личности ребёнка с постановкой задачи её развития. Соединение это по существу оказывалось весьма нестабильным: пережим в ту или другую сторону (уважения или развития) нарушал хрупкое равновесие в пользу либо абсолютизации свободы (Л. Толстой), либо интеллектуальной дрессировки (русская «прогрессивная» педагогика второй половины XIX века была крайне увлечена педантической систематикой Дистервега).

Борьба этих двух направлений составляет проблемную ситуацию, в которой формировалась Paideia Достоевского, не примкнувшего ни к той, ни к другой стороне.

Трактовка детства у Достоевского не укладывается ни в линейную, ни в стадийную концепцию. Её скорее можно определить как циклическую: всё уже было в детстве, оно – как бы жизнь до жизни, проживаемая от начала и до конца, а затем вариативно повторяемая в бытии повзрослевшего человека. Заметим, что педософия Достоевского концептуально изоморфна его историософии с ключевой категорией «золотого века»<sup>6</sup>, равно как и природе его творчества, всегда проходящего через первичный акт целостной «поэмы». Всё это свидетельствует о том, что Paideia Достоевского соприродна его гению, рождённому, в свою очередь, в лоне христианской культуры.

В русской литературе близкую трактовку детства мы находим в «Сне Обломова», не случайно столь ценимом Достоевским. В европейской литературе наиболее последовательно идея духовной автономии детства была воплощена у Диккенса.

Для всей мировой культуры ключевой в этом смысле фигурой является именно Достоевский. Уже в «Бедных людях» мы находим начальный набросок к

развернувшейся затем в его творчестве концепции детства как зерна, в котором целостно «свёрнуто» всё последующее бытие личности. Я имею в виду воспоминание Вареньки о своём детстве в письме от 3 сентября, и в частности, такое её наблюдение: «И нет впечатления в теперешней жизни моей <...>, которое бы не напоминало мне чего-нибудь подобного же в прошедшем моём, и чаще всего моё детство, моё золотое детство!» (1; 83).

Мотив циклического развития, интуитивно нащупанный в первом романе Достоевского, предопределяет одну из важнейших особенностей сюжетной поэтики зрелого писателя. В сжатом виде её можно наблюдать в «Записках из подполья»: детство героя программирует его «подполье»; всё, что происходит в основном сюжете – вариация уже состоявшегося в предыстории.

В «Преступлении и наказании» генезис идеи Раскольникова приводит нас к детскому воспоминанию о забитой лошадке. Тогда, в детстве, произошёл духовный надлом личности, экзистенциально отразившийся в дальнейшей судьбе героя. Отметим некоторые символические детали детского воспоминания Раскольникова. Прежде всего это беспомощность отца, не сумевшего ни защитить сына, ни хотя бы обозначить нравственную позицию (её выражает осуждающий Миколку старик из толпы). Получается – из самой логики произошедшего – что Родион лишён покровительства отцовской силы, он в онтологическом смысле безотцовщина; не случайно и пространственное решение сна-воспоминания: они с отцом шли в церковь мимо кабака, но пьяная сцена захватывает и потрясает мальчика, после чего они с отцом возвращаются домой, так и не дойдя до церкви.

Тема онтологического отцовства (или, скорее, безотцовщины) получит трагическое продолжение в последующих романах Достоевского (истоки её, безусловно, ещё в «Неточке Незвановой», а возможно, отчасти ещё и в переводе бальзаковской «Евгении Гранде»). Своеобразное преломление её находим в «Бесах». Всеобщим отцом (если

можно так выразиться, минус-отцом) является здесь Степан Трофимович, своей духовной «отвязанностью» породивший детей-«бесов», окончательно сорвавшихся «с привязи».

Своих «Отцов и детей» Достоевский, как он сам признавался, написал в «Подростке» и «Братьях Карамазовых». Их пафос в публицистической форме был выражен автором тогда же в «Дневнике писателя»: «Без зачатков положительного и прекрасного нельзя выходить человеку в жизнь из детства...» (25; 181).

Всё дело, по Достоевскому, именно в «зачатках»: каковы зачатки, такова и вся последующая жизнь.

Выявив поэтику циклического сюжета у Достоевского, мы, возвратившись вспять, можем теперь – в свете обозначенной перспективы – приблизиться к пониманию самого загадочного из романов писателя, ставшего к тому же камнем преткновения для современного отечественного достоевковедения, – романа «Идиот». Сюжетная цикличность его очевидна: история Мышкина и Настасьи Филипповны – вариация швейцарской «предыстории» (Мышкин – Мари). И в том, и в другом случае – гибель героини и уход героя. Однако и в том, и в другом случае не менее, а может, и более важна рецепция «детского клуба» (выражение из подготовительных записей к роману), т.е. те впечатления, которые вынесли из этих историй их свидетели и участники – дети. Вынесли для последующей и уже другой жизни.

Мышкин является в Россию из цитадели современной педагогики – Швейцарии. Именно там пребывали источники, питавшие русскую педагогическую мысль. Посещение Швейцарии давало импульс для формирования новых подходов к детям у Вл. Одоевского, Л. Толстого, Ушинского, Корфа, Рачинского...

Знакомство с ними Достоевского удостоверяется неординарным интересом к этой тематике журналов «Время» и «Эпоха», а затем «Гражданина», «Дневника писателя». Мышкин до определённой степени – наследник Руссо и Песталоцци в своём

отношении к детям («меня всегда поражала мысль, как плохо знают большие детей»). Направление, в котором он движется в определённый момент – от Песталоцци к Л. Толстому (недаром же он тоже Лев Николаевич). Так Мышкин рассмешил швейцарского учителя Тибо, сказав о детях, «что мы оба их ничему не научим, а они ещё нас научат» (8; 58). Незадолго до романа «Идиот» Лев Николаевич Толстой так же насмешил русских учителей статьёй под названием «Кому у кого учиться: крестьянским детям у нас или нам у крестьянских ребят?» (1862). Характеризуя Мышкина как учителя (а он таков по сюжету и в своей предыстории, и в истории), мы замечаем, что он в некотором существенном отношении уходит и от Песталоцци, и от Толстого 60-х годов. Позднее и сам Толстой пересмотрел свои взгляды, обратившись к религиозной педагогике, т.е. признав значение авторитета в воспитании (авторитет и авторитарность следует различать). Сам Мышкин, несомненно, обладающий таким авторитетом, т.е. силой прямого, целостного воздействия личности, формулирует суть своей педагогики несколько неопределённо: «я, пожалуй, и учил их, но я больше так был с ними, и все мои четыре года так и прошли. Мне ничего другого не надобно было. Я им всё говорил, ничего не утаивая» (8; 57). В этих словах – глубинная суть Paideia Достоевского. Педагог не столько учил, назидал, сколько «был» с детьми – т.е. жил с ними одной жизнью, органически внося в неё свой духовный опыт и нравственную позицию (это как раз то, чего не хватает многим и многим героям Достоевского – наличия в их жизни онтологического отцовства). Мышкин действует на детей целостно – своими словами, подкреплёнными жизнеповедением, а именно полной самоотдачей. В жизнь детей он вносит ни много ни мало – опыт деятельной любви, полагая их участниками этого опыта (таков же в принципе сюжет Сони Мармеладовой, а в последнем романе Достоевского выразители Paideia – старец Зосима и его наследник Алёша; мы можем говорить об автобиографичности этого

мотива, имея в виду эпизод обучения Алея в «Записках из Мёртвого дома», а также свидетельства Анны Григорьевны о потрясающе-естественной способности её мужа находить общий язык с детьми).

*Paideia* Достоевского, воплощённая во всём его романном пятикнижии и одновременно в педоцентризме его публицистики, предельно проста (как всякая великая мысль, по определению Л.Н. Толстого): мир может выжить лишь в том случае, если в нём будут отцы и дети. Бездетность и безотцовщина – знаки вымирания человечества как рода.

Между тем цивилизация и в первую очередь русское общество уже двинулись в этом выморочном направлении. «Евангелием» так называемых «новых людей» стал роман Чернышевского «Что делать?» В контексте нашей проблемы я укажу лишь на одну весьма характерную приметку его утопического мироздания: здесь нет отцов и детей (как они есть в художественном мире Гончарова и Л. Толстого, Аксакова и Достоевского...)

Русская жизнь, жизнь молодых поколений, поверивших, увы, Чернышевскому, а не Достоевскому, была духовно повреждена. По этой причине мотивы бездетности и безотцовщины в русской литературе XX века приобретают черты эсхатологического трагизма<sup>7</sup>. Таково художественное пространство, созданное Андреем Платоновым, но отблески холодного мерцания нового мира мы находим даже у Гайдара, несмотря на весь «советский» оптимизм. Онтологически свершилось то, что сами же большевики отвергли политически как перегиб: я имею в виду призыв первых лет революции к национализации детей<sup>8</sup>. Другой факт, также имевший символическое значение, – разгром в СССР в 1936 году педологии как лженауки<sup>9</sup>. Как свидетельствует новейший педагогический энциклопедический словарь – «Педагогика стала на долгие десятилетия “бездетной”».

В Русском Зарубежье в то же время получили глубокое развитие две ветви педагогической мысли, обрубленные в

советской науке<sup>10</sup>, – идеалистическая педагогика (С.И. Гессен) и религиозная педагогика (её вершинное явление – работы В.В. Зеньковского)<sup>11</sup>. Обе эти ветви исходили из традиций русской литературной классики, и прежде всего – постановки *paideia* у Достоевского (и Гессен, и Зеньковский наиболее часто обращаются именно к его творчеству). Линия сопротивления новому холодному миру прошла и через литературу Русского Зарубежья, где *paideia* получила художественную реализацию в творчестве Бунина, Шмелёва, Набокова и др. Россия – вопреки всему – восставала в художественном измерении как страна детства. Особую, возможно, даже ведущую роль в творчестве Набокова сыграл своеобразный метасюжет «воскрешения отца» с его нравственной силой, передающейся сыну как необходимая опора бытия.

В свете всего сказанного наши выводы: 1) *paideia* должна рассматриваться как доминанта творчества Достоевского, получившая продолжение в непростом движении русской культуры; 2) «бездетность» современного общества – предел, до которого оно дошло, *paideia* не может не вернуться, у нас нет другого выхода.

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> См.: *Paideia: Philosophy Educating Humanity. Proceedings of XXth World Congress of Philosophy. Boston, 1998.*

<sup>2</sup> *Хайдеггер М.* Время и бытие. Статьи и выступления. М., 1993. С. 350 – 351.

<sup>3</sup> Там же. С. 351.

<sup>4</sup> *Руссо Ж.-Ж.* Педагогические сочинения: В 2 т. М., 1981. Т. 1. С. 22.

<sup>5</sup> Там же. С. 78.

<sup>6</sup> Это качество художественного мира Достоевского в его несколько утрированном виде дало основание современному исследователю заявить о своеобразной его ущербности: «уверенность Достоевского в идеальности детской души основана не на исследовании детского мира, не на анализе детской психологии (как это мы видим у Толстого, Чехова, Короленко), а на убеждении, что ребенок – это “образ Христов на Земле”. <...> В произведениях Достоевского нет неповторимо-детского сознания, нет картин мира, увиденных “снизу”, воспринятых ребенком; нигде нет одного ребенка, везде – взрослый,

взрослое сознание, взрослый опыт» (*Пушкарева В.С.* Дети и детство в творчестве Ф. М. Достоевского и русской литературе второй половины XIX в. Белгород, 1998. С. 87, 90.

<sup>7</sup> См.: *Горичева Т.* Сиротство в русской культуре // Вестник новой литературы. 1991. № 3; *Карасев Л.В.* Знаки покинутого детства. («Постоянное» у Андрея Платонова) // Вопросы философии. 1990. № 2.

<sup>8</sup> См.: *Соколов Б.* Спасите детей! (О детях Советской России). Прага, 1921.

<sup>9</sup> Кстати говоря, Центральный педологический институт и Биографический институт 13 ноября 1921 г. провели совместное заседание, посвященное памяти

Достоевского. Один из докладов, там прочитанных, был вскоре опубликован: *Соловьев И.* Достоевский как педолог // Детство и юность, их психология и педагогика. Педологический сборник. М., 1922.

<sup>10</sup> Возможно, последним «вздохом» была концептуальная работа: *Лосев А.* О методах религиозного воспитания (доклад в педагогическом кружке Нижегородского университета 29 марта 1921 года // Путь православия. 1993. № 1.

<sup>11</sup> См. новейшие переиздания: *Гессен С.И.* Педагогические сочинения. Саранск, 2001; *Зеньковский В. В.* Психология детства. Екатеринбург, 1995; *Он же.* Педагогика. М., 1996.